



THE OVERCOAT
BY NIKOLAI GOGOL
PERFORMED IN RUSSIAN
RECORDED IN THE U.S.S.R.

EDITED AND WITH NOTES BY ELIZABETH KRESKY

FOLKWAYS RECORDS FL 9955

THE OVERCOAT

Narrator: M. Shtraulh

Akaly Akaklevich: Y. Chernovolenko

Petrovich: A. Gribov

Important Person: V. Yakut

Officials: G. Vitsin, S. Zaytsev, I. Besspalov, Y. Medvedev, V. Mitrokhin

Produced by A. Lobanov

Directed by A. Ilyina

Accompanying text includes complete Russian transcript with English translation

DESCRIPTIVE NOTES ARE INSIDE POCKET

Cover woodcut of Gogol by Pál Gerson / Design by Ronald Clyne

BY NIKOLAI GOGOL

Library of Congress Catalogue Card No. R 61-1858

© 1960 FOLKWAYS RECORDS & SERVICE Corp.

701 Seventh Ave., New York City

Distributed by Folkways/Scholastic Records.

906 Sylvan Ave., Englewood Cliffs, N.J. 07632

THE OVERCOAT

by N. Gogol

A Radio Play
recorded in the USSR

Music by N. Peiko
Narrator: M. Shtraukh
Akaky Akakievich: Y. Chernovolenko
Petrovich: A. Gribov
Important Person: V. Yakut
Officials: G. Vitsin, S. Zaytsev,
I. Bepalov, Y. Medvedev,
V. Mitrokhin

Orchestra led by B. Sherman
Producer: A. Lobanov
Directed by A. Plyina

Edited and translated by Elizabeth Kresky

insignificant clerk Akaky Akakievich is portrayed with great sympathy and compassion. We laugh at the many humorous touches in Gogol but, somehow, at the end there is a feeling of pervading sadness.

Although The Overcoat, as it appears on the record, has been cut, the language and flavor of Gogol himself remains in tact. It has not been simplified. It is Gogol's own words, occasionally put into dialogue rather than narrative form for a greater dramatic effect, but always retaining Gogol's own language.

The enclosed text has been edited to correspond exactly with the story as it appears on the record. The translation is based on the translation by Zlata Shoenberg and Jessie Domb (Bilingual Series).

by Elizabeth Kresky



ОН СЛУЖИЛ С ЛЮБОВЬЮ

Ш И Н Ё Л Ь

AUTOBIOGRAPHY

Elizabeth Kresky is an Assistant Professor of Russian Language and Literature at C. W. Post College. She is a graduate of the University of Washington and has a B.A. in Russian Language and Literature from Columbia University and a Ph.D. in Russian Language and Literature from Charles University, Prague.

THE OVERCOAT

Nikolai Vasilyevich Gogol (1809-1852), the son of a small landowner, was born and raised in the Ukraine. He knew and loved the folk tales and songs of this area and his first collection of stories, Evenings on a Farm Near Dikanka, reflect the folklore and superstitions of the Ukraine.

His mother was a fanatically religious woman who instilled this fanaticism in her son. Gogol went so far as to burn all of his work on the second volume of Dead Souls, shortly before he died, because he had become convinced that only in this way could he escape eternal damnation.

Gogol introduced the "little man" into Russian literature where only "important" people had been allowed before. His best known works are his novel Dead Souls, the play The Inspector General and the short story The Overcoat. Throughout all his works Gogol combined a lively humor and an inescapable sadness. In The Overcoat, the poor,

В департаменте. . . но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, канцелярий, словом, всякого рода должностных сословий. Во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом.

Итак, в одном департаменте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным. . . Что ж делать, виноват петербургский климат.

Что касается до чина /ибо у нас прежде всего нужно объявить чин/, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться.

Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки.

Имя его было: Акакий Акакиевич.

Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове.

В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через примыную пролетела простая муха.

PG
3332
S5
1960

MUSIC LP

Молодые чиновники подсмеивались и острелились над ним во сколько хватало канцелярского остроумия, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: "оставьте меня, зачем вы меня обижаете". И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены.

В нём слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, вдруг остановился как будто пронзённый, и с тех пор как будто всё переменялось перед ним и показалось в другом виде. И долго потом среди самых весёлых минут представлялся ему низенький чиновник с лысиной на лбу, с своими проникающими словами: "оставьте меня, зачем вы меня обижаете".

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его.

Так протекала мирная жизнь человека, который, с четырьмястами жалованья, умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассипанных по жизненной дорожке не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех получающих 400 рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя впрочем говорят, что он очень здоров.

Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало припекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев её хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трёх местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точно серпанка: сукно до того истёрлось, что сквозило, и подкладка расплзлась.

Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от неё отнимали даже благородное имя шинели и называли её капотом. В самом деле, она имела какие-то странное устройство: воротник её уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей её.

Увидевши в чём дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвёртом этаже по чёрной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предпрятия.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех чёрных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей.

Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухню, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошёл через кухню и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича.

На щёе у Петровича висел моток шёлку и ниток. Он уже минуты с три продевал нитку в игльное ухо, не падал и потому очень сердился:

"Не лезет, варварка; уёла ты меня, шельма этакая!"

"Здравствуй, Петрович!"

"Здравствовать желаю, сударь".

"А я вот к тебе, Петрович, того. . ."

"Что ж такое?"

"А я вот того, Петрович. . . шинель-то, сукно. . . вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немножко того. . . на спине, да ещё вот на плече одним немножко попортилось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и всё. И работы немножко. . ."

"Нет, нельзя поправить: худой гардероб!"

"Отчего же нельзя, Петрович? Ведь только всего, что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки. . ."

"Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползёт."

"Пусть ползёт, а ты тотчас заплаточку".

"Да заплаточки не на чём положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится".

"Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того! . . ."

"Нет, ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придёт зимнее, холодное время, наделайте из неё себе ошучек, потому что чулок не греет. Это немцы придумали, чтобы побольше себе денег забирать, а шинель уж, видно, вам придётся новую делать".

"Как же новую? ведь у меня и денег на это нет".

"Да, новую".

"Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того. . ."

"То есть, что будет стбить?"

"Да".

"Да три полсотни слишком надо будет приложить".

"Полтора ста рублей за шинель!"

"Да-с, да ещё какая шинель. Если положить на воротник куницу, да пустить капюшон на шелковой подкладке, так и в двести войдёт".

"Петрович, пожалуйста, как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь ещё послужила".

"Да нет, это не выйдет: и работу убивать, и деньги попусту тратить".

"Этакое-то дело этакое, я право и не думал, чтобы оно вышло того. . . так вот как! наконец, вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак".

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. Вместо того, чтобы идти домой, пошёл совершенно в противную сторону, сам того не подозревая.

Дорогой задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил всё плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки стрившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свой алебарду, натравивал из рожка на мозолистый кулак табак, тогда только немножко очнулся, и то потому, что будочник сказал: "Чего лезешь в самое рёло, разве нет тебе трухуара?" Это заставило его очнуться и повернуться домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде своё положение.

"Ну, нет, теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того, жена, видно, как-нибудь поколотила

его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после минувшей субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того . . .

Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрив себя и дождался первого воскресенья. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал в чем дело, точно как будто его чорт толкнул.

"Так вот Петрович, того... шинель-то, и всё-таки хоть как-нибудь поправь".

"Нельзя, извольте заказать новую."

"Так этак-то..."

Так этак-то. Вот какой уж, точно никак неожиданное того... этого-бы никак, этакое-то обстоятельство. (а я тебе, Петрович, того... гривенничек.)

"Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, а об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под апплике".

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что, на какие деньги её сделать? Если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных, определил бы сорок пять или пятьдесят, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Да, все эти деньги уже размещены и распределены вперёд.

Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмётся сделать: однако, всё же, откуда взять эти восемьдесят рублей? Ещё половину можно бы найти: половина бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?

Акакий Акакиевич думал-думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжении одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при её свече; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоромненно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть бельё, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидывать его и оставаться в одном только демикотонном халате, очень давнем и шадимом даже самым временем.

Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыкло и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вичную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто-бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорожку, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель.

Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, кунцу на воротник.

Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакия Акакиевичу не сорок или сорок пять рублей, а целых шестьдесят рублей. Ещё каких-нибудь два три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма

покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купил сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали ещё за полгода прежде и редкий месяц не заходил в лавки применяться к ценам, зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает.

На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был ещё лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевицей. Кунцы не купили, потому что была, точно, дорога, а вместо её выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за кунцу.

Это было . . . трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принёс, наконец, шинель.

Видевши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акакия Акакиевичу; потом потянул и осадил её сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору.

Акакий Акакиевич расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент.

Петрович долго ещё смотрел издали на шинель и потом пошёл нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть ещё раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо.

Между тем Акакий Акакиевич шёл в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его, новая шинель, и несколько раз даже усмеялся от внутреннего удовольствия. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел её кругом и поручил в особенный надзор швейцару.

"Господи, вы слышали, у Акакия Акакиевича новая шинель?"

"Новая шинель?"

"А как-же капот?"

"Капота более не существует. Ха-ха-ха."

"А хороша шинель, право, хороша."

"Поздравляю, Акакий Акакиевич, поздравляю."

"Да, она того... в самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо."

"Ха, ха, а ведь шинельку-то надо вспрыснуть. Акакий Акакиевич, по-крайней мере вы должны задать нам всем вечер."

"Да ведь это того... это совсем не новая шинель, хе, это так, это старая шинель."

"Ну, так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер, и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник."

"Покорнейше благодарим, честь имеем поздравить."

"А вы, Акакий Акакиевич, приходите, это очень хорошо, замечательно, обязательно."

"Как-же мне... это то прийти... Я, право того..."

"Нет, Акакий Акакиевич, это неучтиво отказываться, просто стыд и срам."

Помощник столоначальника жил в лучшей части города, стало быть очень не близко от Акакия Акакиевича. По мере приближения к квартире его, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротнички; попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, а лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали

улицу, визжа колёсами по снегу, карёты с убранными козлами.

Акакий Акакиевич глядел на всё это, как на ностальгию. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу.

Помощник столоначальника жил на большую ногу; на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже.

Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами.

Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошёл в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свёчи, чиновники, трубки, столы для карт.

"А, господя, Акакий Акакиевич! А где же шинель, ха, ха! Пойдёмте шинель смотреть, ха, ха. А что вы, Акакий Акакиевич, сделали с капотом, признайтесь?"

"Капот, а того. . . далёкая разница, ха, ха, ха."

"Господя, господя, партию в вист."

Разумеется, все бросили и его, и шинель, и обратились к столам, предназначенным для виста.

За ужином Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однакож никак не мог позабýt, что уже двенадцать часов и что давно пора домой.

Он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшую на полу, стряхнул её, снял с неё всякую пушинку, надел на плечи и опустился по лестнице на улицу.

Акакий Акакиевич шёл в весёлом расположении духа. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днём не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались ещё глуше и уединеннее; фонари стали мелькать реже; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкали только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие маленькие лачужки.

Вдали, бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то небольшой боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точно море вокруг него. "Нет, лучше и не глядеть", подумал и шёл, закрыв глаза, а когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить.

"А ведь шинель-то моя! сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать "караул", как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, промолвив: "а вот только крикни!" Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было.

Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свой алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая узнать, какого чорта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели.

Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые ещё водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартир его, услышав страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала открывать дверь, но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича.

Весь этот день он не был в присутствии /единственный случай в его жизни/. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своём, который сделался ещё плачевнее.

Один кто-то решился помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело.

Приёмы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. "Строгость, строгость и — строгость", говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе.

К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич.

"Ваше превосходительство! Пришёл Башмачкин."

"Кто такой?"

"Какой-то чиновник, ваше превосходительство, по фамилии Башмачкин."

"А может подождать, теперь не время. Ты видишь, я занят."

"Ваше превосходительство."

"Ну, хорошо, скажите ему что может войти."

"Слушаю, ваше превосходительство."

"Ваше превосходительство."

"Что вам угодно?"

"Ваше превосходительство. Была того... шинель, совершенно новая, теперь ограбили, ваше превосходительство, безчеловечным образом. Покорнейше прошу как-нибудь того... чтобы вы, ваше превосходительство, списались с господином обер-полицмейстером, или другим кем, чтобы того... отыскать шинель, ваше превосходительство."

"Что вы, милостивый государь, не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы её уже мне. . ."

"Но, ваше превосходительство, я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того . . . ненадёжный народ. . ."

"Что, что, что? Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и вышних! Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это, понимаете ли это? Я вас спрашиваю?"

Как сошёл с лестницы, как вышел на улицу, ничего уже этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был ещё так сильно распечен генералом, да ещё и чужим. Он шёл по выюге, свиставшей в уличках, разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слёг в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье!

Акакий Акакиевич находился всё время в бреду и жару. Глечения, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западными для воров, то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, если у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее расписание, и приговаривает: виноват, ваше превосходительство; то, наконец, даже сквернохудничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, от роду не слышав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом "ваше превосходительство". Можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух.

Ни комнаты, ни вещей его не печатавали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десять белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот.

Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто в нём его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естественного наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть её в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого всё ж таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь.

THE OVERCOAT

In a certain department - but better not say which, as there is no one touchier than people in a department or office: in short, any kind of civil servant. To avoid all unpleasantness, it will be best to call the department in question "a certain department."

And so, in a certain department there served a certain clerk, who cannot be said to have been very remarkable. He was short, rather pock-marked somewhat carrotty-haired, weak-sighted, and with a bald patch over his forehead, wrinkles on both sides of his cheeks, and a complexion known as haemorrhoidal.

... What can one do? The St. Petersburg climate is to blame.

As for his rank (for with us it is necessary, above all, to state a man's rank), he was what is known as a permanent titular councillor, the type of civil servant, as is well known, that is made fun of and jeered at freely by various writers who have the laudable habit of picking on those who cannot hit back.

This clerk's name was Bashmachkin. Even the name shows that it was derived from a shoe, but when or at what period, or how it came about, nothing is known of this. The father and the grandfather, and even the brother-in-law, all thorough Bashmachkins, wore boots, changing the soles only about three times a year.

His Christian name was Akaky Akakyevitch.

When, and at what period, he first came to the department, and who appointed him, nobody can remember. However many directors and other officials were changed, he was always to be seen at the same place, in the same position, at the same job of copying clerk; so that one eventually became convinced that he came into the world like that, already completely ready, in his civil servant's uniform and with a bald patch on his head.

Nobody in the office showed him the least respect. The porters not only failed to rise when he passed by, but did not even look at him, as if a mere fly

had flown through the waiting room. The young clerks jeered and poked fun at him, as far as civil service wit would allow. They would strew paper on his head, and say it was snow. But to all this Akaky Akakyevitch never said a word. Only if the joke became quite unbearable, when his elbow was jogged and his work interfered with, he would say, "Leave me alone, why do you pick on me?" and there was a peculiar ring in his words and the voice in which they were uttered. There was something verging on pathos in their tone, so that one young man, a newcomer stopped suddenly as if pierced to the quick. From then on everything was changed for him, he seemed to see things in a different light. Long afterwards, during his gayest moments, he could visualize the little clerk with the bald spot on his head, and hear his piercing words: "Leave me alone, why do you pick on me?"

It would be hard to find a person who lived so much in his work. It is not enough to say that he worked with zeal - no, he worked with devotion. There, in that copying, he found some varied, pleasant world of his own. His face expressed his delight. Some letters were his special favourites, and when he got the opportunity of using them he was quite beside himself. He would give a little laugh and wink, and his lips moved so that it seemed as if every letter that he had formed with his pen could be read on his face.

Thus slipped past the peaceful life of a man who could be content with his lot on a salary of four hundred roubles. He might have gone on in this way to a ripe old age, were it not for the various misfortunes which bestrew the path of life, not only of a titular councillor, but even of a privy actual, or court councillor, and every other type of councillor, even those who neither give counsel nor take it themselves.

In St. Petersburg there is a powerful enemy of all those who earn four hundred roubles a year or thereabouts. This enemy is none other than our northern frost - although, by the way, it is said to be very healthy.

For some time now Akaky Akakyevitch had been feeling that something very sharp was penetrating to his back and shoulders, though he strove to run the necessary distance at top speed. He began to wonder at last if, perhaps, it were due to some defects in his overcoat. In his own home he examined it well and discovered that in two or three places, namely, on the shoulders and back, it had become exactly like a sieve. The cloth was so threadbare that it was transparent, and the lining was in shreds.

It should be understood that Akaky Akakyevitch's coat was a source of amusement to the other clerks. They even deprived it of the honoured name of great-coat and dubbed it a dressing gown. And it did really have a peculiar shape. With each year the collar became smaller and smaller as it was used for patching other parts of the coat.

On seeing what was the matter, Akaky Akakyevitch decided that the coat must be taken to Petrovitch, the tailor, who lived somewhere on the fourth floor up a back staircase, but who, in spite of a squint-eye and pock-marks all over his face, was quite good at repairing trousers and coats for clerks and others. That is, when he was sober and his head was not taken up with some other enterprise.

While climbing the stairs leading to Petrovitch, which to give them their due were soaked with water and slops, and permeated with that smell of alcohol which makes the eyes smart, but, as is well known, is always present on the back stairs in St. Petersburg houses, - while climbing these stairs Akaky Akakyevitch was already wondering how much Petrovitch might charge, and had mentally decided not to give more than two roubles.

The door was open, as the mistress in preparing some fish had let so much smoke into the kitchen that you could not even see the cockroaches. Akaky Akakyevitch

went through the kitchen and at last entered a room where he saw Petrovitch. A skein of silk and thread was hanging round Petrovitch's neck. He had, for about three minutes, been trying to pass the thread through the eye of the needle, but he couldn't manage it, and he was therefore very annoyed.

"It won't go in, the beast. You are tiring me out, wretch that you are!"

"Good day, Petrovitch."

"I wish you good day, sir."

"I've come to you, Petrovitch, so ..."

"Well, just what is it?"

"Well, Petrovitch, what I'm here for now ... this overcoat ... the cloth ... well, you see, everywhere else it is quite strong. It is a little dusty and looks as if it is old, but it is new, and only in one place it is just a trifle so ... at the back, also on one shoulder it is slightly threadbare. Just on this shoulder a little, you see, and that's all. It's not much work ..."

"No, this can't be repaired, it is a poor garment."

"But why not, Petrovitch? It is only worn out on the shoulders, surely you have some little pieces..."

"Yes, pieces can be found; pieces there are, but they can't be sewn on. The whole thing is rotten; touch it with a needle ... and it will fall to pieces."

"Let it fall to pieces, and you will patch it up right away."

"Yes, but there is nothing on which to put the patches, nothing to which to attach them - the wear has been too great. It is cloth in name only - one puff of wind and it will fall apart."

"But do strengthen it. Really now, in some way or other!"

"No, nothing can be done. The thing is quite hopeless. Better make yourself some puttees out of it when the cold winter weather comes, because socks are not warm. It was the Germans who invented them so as to grab more money for themselves. But it is clear that you must have a new overcoat made."

"What do you mean a new one? But I have no money for that."

"Yes, a new one."

"Well, and if one had to get a new one, how much, now ..."

"You mean, what will it cost?"

"Yes."

"Well, over three fifties would definitely have to be paid."

"A hundred and fifty roubles for a coat!"

"Yes, 'and what a coat at that! If marten is put on the collar as well as a hood lined with silk, it would even come to two hundred!'"

"Please, Petrovitch, mend it somehow so that it can do a little longer."

"No, that can't be done; the work will be no good and the money wasted."

"What a business this is. I really did not think it would turn out like this. So that's it; that's how it has turned out after all. I really could never have imagined that it would be like this."

Akaky Akakyevich came out into the street as

though he were walking in his sleep. Instead of going homeward he went, without suspecting it, in quite the opposite direction.

On the way a chimney sweep knocked against him with his dirty side and blackened his shoulder; a whole lot of lime was upset over him from the top of a house that was being built. He noticed nothing of this, and only later when he knocked against a policeman who had put his halberd down near by and was emptying some snuff from his horn snuffbox on to his calloused palm, did he come to himself somewhat, and then only when the policeman said, "Why do you push right into my face? Isn't the sidewalk big enough for you?" That made him come to himself and turn homeward. Only then did he begin to collect his wits and to get a clear and actual idea of his position.

"No, it's not possible to reason with Petrovitch now. His wife has probably given him a thrashing. I had better go to him on Sunday morning. After the Saturday evening he will be squint-eyed and having overslept he will have to have another drink to get over it, but his wife will not give him any money, and at that moment I will give him ten kopecks, and with that in his hand he will be more agreeable, and the coat will therefore ..." Thus Akaky Akakyevich reasoned with and encouraged himself. He waited for the next Sunday morning. Petrovitch was, as usual after the Saturday, squinting dreadfully, and his head was bowed down to the ground and he was quite heavy with sleep; but in spite of all this, as soon as he understood what it was about he said, just as if the Devil had nudged him.

"So Petrovich ... the coat, if you could just mend it somehow."

"Impossible, you will have to order a new one."

"So that's how it is. Really, quite unexpected ... it should be like this ... what a situation! And I, Petrovich, have a ten kopeck piece for you."

"Thank you, sir. I will fortify myself with a little one to your health. And you need not worry about the overcoat any more, as it is no good at all. I'll make you a new one without fail, and you can rely on me to do my very best. We might even do it in the latest fashion - the collar will be fastened with silver clasps under applique."

Akaky Akakyevich saw that he wouldn't get away except with a new coat, and lost heart completely, for after all how ... with what money could it be done? Even if the director were so generous and, instead of the forty roubles bonus, were to increase it to forty-five or fifty, there would still only be left the merest trifle, which would only be a drop in the bucket towards the sum needed for the overcoat. But all this money had already been disposed of and distributed in advance.

Although, of course, he knew that Petrovitch would undertake the work for eighty roubles, all the same where could he get eighty roubles from? Half he might yet manage; half, perhaps, could be found and even a little more, maybe, but where was he to get the other half?

Akaky Akakyevich thought and thought and decided that he would have to reduce his usual expenses for one year at least - do away with the habit of tea in the evening, not light candles at night, and if there was something he needed to do, to go to the landlady's room and work there by her candle; when walking in the street to step as lightly and carefully as possible on the cobbles and flagstones, practically on tiptoe, and in that way not wear his soles out so quickly; give his linen as rarely as possible to the washerwoman and, in order not to get it too dirty, always when at home to take it off and wear only a very old fustian dressing gown, on which even time itself had taken pity.

To be frank, he found it difficult at first to get used to these restrictions, but then he did get used to it somehow, and things went better. He even trained himself to go without food in the evenings, but on the other hand he was getting spiritual nourishment, carrying in his mind perpetually the thought of his new coat. From that time it seemed as if his very existence had become richer, as if he had married; as if some one else were with him and he were not alone, but some congenial companion had agreed to go along life's road with him - and this friend was none other than the overcoat with thick wadding and a strong lining that would never wear out. He became more animated, even firmer in character, like a man who had defined and fixed his goal.

At times his eyes lit up and the most daring and extraordinary thoughts flashed through his mind. "And perhaps really put marten on the collar?"

The matter went even quicker than he had expected. Contrary to all expectations, the director assigned to Akaky Akakievitch the sum of sixty roubles instead of the forty or forty-five. Some two or three more months of semi-starvation and Akaky Akakievitch had accumulated about eighty roubles. His heart, generally so serene, began to palpitate. On the very first day possible he and Petrovitch went to the shops. He bought a very good cloth, and that is not surprising as they had thought about it for the past six months, and rarely a month had gone by without going into the shops to compare prices. Even Petrovitch himself said that a better cloth did not exist.

For the lining they chose calico, but of such quality and thickness that, to quote Petrovitch, it was better and looked more elegant and glossy than silk. They did not buy the marten because it was so dear, but instead they chose cat, the best that could be found in the shop; but cat which from a distance could be taken for marten.

It was - it is difficult to say which day, but it was probably the most triumphant day of Akaky Akakievitch's life when Petrovitch at last brought the coat. Having taken the coat out, he looked at it extremely proudly, and holding it in both hands he threw it very deftly over Akaky Akakievitch's shoulders, then pulled it down and smoothed it with his hands; then he draped it loosely on Akaky Akakievitch. But Akaky Akakievitch, like all people of advanced years, wanted to try it on with the sleeves. And even with the sleeves on it appeared to be fine. In short, it turned out that the coat was perfect and had come just in time. Akaky Akakievitch settled with him, thanked him, and went off to the office in the new overcoat.

Petrovitch stared after the coat for quite a long time from a distance; then he went to one side, so that by turning into a crooked alley he might run out again into the street and get another view of his coat from the other side - that is, full front.

Akaky Akakievitch was meanwhile walking along in a most festive mood. Every second of every minute he felt that there was a new overcoat on his shoulders, and several times he even smiled with inward happiness. He took off the coat at the porter's lodge, looked it all over, and entrusted it to the porter's special care.

"Gentlemen, have you heard that Akaky Akakievitch has a new coat?"

"A new coat?"

"And what about the dressing gown?"

"The dressing gown no longer exists. Ha, ha, ha."

"And the overcoat is fine, really fine."

"Congratulations, Akaky Akakievitch, congratulations."

"Yes, it is, in fact ... there are two advantages. One, that it is warm and the other, that it is good."

"Ha, ha! We'll have to drink to the new coat! Akaky Akakievitch, at least you'll have to give an evening party for all of us."

"But really this .. this is not at all a new coat. This is such, this is an old coat."

"Well and good. I will give an evening party instead of Akaky Akakievitch, and I invite you to my place for tea today. As luck would have it today is my name-day."

"We humbly thank you. It is an honor to congratulate you."

"And you come, Akaky Akakievitch. It is very good, remarkable, compulsory."

"How can I come ... I, really" ...

"No, Akaky Akakievitch. It's not polite to refuse. It's simply a shame."

The principal's assistant lived in the best part of the town, which means not very near Akaky Akakievitch. As he got nearer to his apartment the streets became livelier, more populated, and better illuminated. Pedestrians began to flit by more often and one began to meet beautifully dressed ladies. Men were at times seen with beaver collars. One saw smart coachmen in crimson velvet hats, with lacquered sledges and bear rugs. Rushing along the streets, their wheels squeaking in the snow, were carriages with smart coach-boxes.

Akaky Akakievitch looked at all this as if it were a novelty to him. It was several years now since he had been out in the streets in the evening.

The principal's assistant lived in grand style; the stairs were lit by a lantern. The apartment was on the second floor. On entering the hall he saw whole rows of goloshes on the floor and in their midst, in the center of the room, stood a samovar simmering and letting out clouds of steam. Hanging on the wall were overcoats and cloaks, some with beaver collars or velvet lapels.

Akaky Akakievitch hung his coat up himself and went into the room. There he saw in one flash candles, officials, pipes, card-tables.

"Ah, gentlemen, Akaky Akakievitch! But where is the coat? Ha, ha! Let's go look at the coat. Ha, ha! But Akaky Akakievitch, what did you do with the dressing gown? Confess!"

"The dressing gown, but ... there is a great difference."

"Ha, ha, ha!"

"Gentlemen, gentlemen, a game of whist!"

Of course everyone left him and the coat and turned to the tables prepared for whist.

For dinner Akaky Akakievitch was forced to drink two glasses, after which he began to feel that it was gayer in the room, but all the same he could not forget that it was already twelve o'clock and that he should have gone home long ago.

He left the room very quietly, found his coat, which to his regret he saw lying on the floor, shook it, and removed from it every particle of dust. He put it over his shoulders and went down the stairs to the street.

Akaky Akakievitch walked along in a gay mood. Soon there stretched before him those desolate streets which even in the daytime were not very cheerful, and less so in the evening. Just now they were even more deserted and lonely. One saw fewer glimmering lamps. Wooden houses and fences now appeared, and not a soul anywhere. Only the snow glistened in the streets, and the little slumbering hovels with closed shutters looked like dismal black spots.

In the distance, God knows where, a little fire gleamed in a watch-house which seemed to stand at the edge of the world. Somehow, here, Akaky Akakyevitch's gaiety dimmed perceptibly. He stepped into the square not without some kind of instinctive fear, just as if his heart had a premonition of something evil. He looked back and to each side - just as though there was a sea around him. "No, it is better not to look," he thought, and walked on with his eyes shut. When he opened them to see whether the end of the square was near he suddenly saw in front of him, almost under his nose, some men with mustaches, but he could not even make out what kind of men they were.

"That coat is mine," one of them said in a thundering voice, catching hold of him by the collar. Akaky Akakyevitch tried to shout "Help!" When another pushed a fist as big as a civil servant's head right into his mouth, saying, "You just try to shout!" Akaky Akakyevitch felt only how they took off his coat and kicked him in the back with a knee; then he fell on his back in the snow and felt nothing more. He came to after a few minutes, and got to his feet, but nobody was there.

Desperate, still shouting, he started to run across the square right up to the watch-house where the policeman stood leaning on his halberd, apparently looking on with curiosity and wondering who the devil was running towards him and shouting. Having run up to him, Akaky Akakyevitch began to shout in a gasping voice that the policeman was asleep, and not keeping watch, and did not see how a person was being robbed. The policeman answered that he had not seen anybody; that he had seen two men stop him in the middle of the square, but thought they were his friends.

Akaky Akakyevitch came running home looking thoroughly untidy. His hair, of which he still had some on the temples and at the back, was all rumpled, and there was snow on his back, on his chest, and all over his trousers. The old woman, his landlady, on hearing a dreadful knocking at the door jumped hurriedly out of bed, with a shoe on only one foot, and ran to open the door. When she opened the door she stepped back at seeing Akaky Akakyevitch in such a state.

The whole of that day he was away from the office (the only time in his life). Next day he appeared looking pale, in his 'old dressing-gown,' which looked more woebegone than ever.

One of them decided to help Akaky Akakyevitch with good advice, and said that he should appeal to a certain important personage. The important personage would write and get in touch with the appropriate person, and would thus hasten the matter. The manner and habits of the important personage were dignified and stately, but rather simple. "Discipline, discipline - and discipline" he used to say, and at the last word he usually looked very meaningfully into the face of the person to whom he was talking. Though there was no need for it, by the way, as the ten clerks who constituted the whole machinery of the "audience room" were in sufficient awe even without that.

It was to just such an important personage that our Akaky Akakyevitch went.

"Your Excellency, Bashmachkin has arrived."

"Who is he."

"Some kind of clerk, Your Excellency, Bashmachkin by name."

"Ah, he can wait. It is not convenient now. You see, I'm busy."

"Your Excellency."

"Well, alright, tell him he can come in."

"Very well, Your Excellency."

"What do you want?"

"Your Excellency. There was, so ... a coat, completely new. Now it has been robbed in a most brutal manner, Your Excellency. I most humbly ask you, somehow, Your Excellency, to write the Superintendent of Police, or anyone else, so that ... so the coat is found, Your Excellency."

"Why, my dear sir, are you not aware of the correct procedure? Where do you think you are? Don't you know how these matters are conducted? You should, first of all, have handed a petition into the office, and it would have gone to the head clerk, then to the head of the department, then to the secretary, and the secretary would then have brought it to me ..."

"But, Your Excellency, I, Your Excellency - I ventured to trouble you because the secretaries are such ... unreliable people ..."

"What is this, what, what?" "Where did you get such audacity from? Where did you get such notions? What insolence these young people have towards the administrators and their superiors." "Do you know to whom you are speaking? Do you realize who is standing before you? Do you understand this? Do you understand this? I am asking you?"

Akaky Akakyevitch could not remember at all how he got down the stairs, and how he got into the street. He could not feel his legs or arms. Never in his life had he been reprimanded in such a manner by a general, and a stranger at that. With his mouth open he walked through the blizzard which was whistling through the streets, reeling on and off the pavement. In a flash it blew a quinsy into his throat, and when he reached home he was unable to say a word. All swollen, he took to his bed. So strong an effect can a thorough reprimand have sometimes.

Akaky Akakyevitch was delirious and feverish all the time. Visions, each one more strange than the other, appeared incessantly. One moment he saw Petrovitch and ordered him to make a overcoat with traps for thieves. Then he would ask why was the old "dressing-gown" hanging in front of him when he had a new greatcoat. Then it appeared that he was standing before the General listening to the thorough reprimand, and he kept on repeating, "Guilty, your Excellency." He also even began to swear and to utter the most dreadful words, so that the little old woman, the landlady, even crossed herself, as she had never heard him use such language. What is more, these words came immediately after the words "Your Excellency." Later on he talked such utter nonsense that nothing could be understood. Only it was evident that his confused words and thoughts were all the time about one and the same greatcoat. At last poor Akaky Akakyevitch gave up the ghost.

Neither his room nor his possessions were sealed. First of all because he had no heirs, and secondly, there was very little to inherit. Namely, a bundle of goose-quills, a quire of white office paper, three pairs of socks, two or three buttons torn off his trousers, and the old "dressing-gown," already known to the reader.

Akaky Akakyevitch was taken away and buried, and St. Petersburg was left without Akaky Akakyevitch as if he had never existed. So departed and passed away a being, defended by nobody, dear to nobody, and of no interest to anyone - not attracting even the attention of the natural history observer who does not omit to put an ordinary fly on a pin, to examine it under the microscope. A being who suffered the office jokes meekly and went to his resting-place without any ceremony, but for whom, nevertheless, although only at the very end of his life a bright Visitor appeared in the guise of a greatcoat, enlivening for a moment the poor life.